## В. П. БЕТАКИ

### Звездный странник
### (К столетию со дня рождения Максимилиана Волошина)

Говоря о Волошине, нельзя не вспомнить одну древнюю апокрифическую легенду — легенду о Серых ангелах, которые не восстали против Бога, как Денница, но и не сражались на стороне небесного воинства... Это те, кого, говоря словами Мильтона, «Светлый Рай отверг и серный ад не признал, и ни свет, ни тьма их не приняли в лона свои» («Потерянный Рай»). И вот они всегда среди людей, они знают так много, что едва в силах вынести этот страшный груз. И страшней всего — что нет у них шансов предостеречь людей от возможного грядущего, ибо им не верят. Ведь их полагают такими же людьми, и — «нет пророка в своем отечестве». Вот они-то и есть те вечные странники, идущие агасферовыми путями, которые за Знание и Память, за прозрачность для них прошлого и будущего платят страшную цену: они обречены на вечное внутреннее одиночество: *«Да, я помню мир иной, / Полустертый, непохожий, / Д вашем мире я — прохожий, / Близкий всем, всему чужой»*. В этих строках — разгадка и поэзии Волошина, и его человеческой судьбы. Невозможно понять Волошина, если не учесть, что оккультизм (и антропософия, в частности) были для поэта не игрой, а самой живой, искренней духовной реальностью, более того — просто верой, причудливо сочетавшейся с христианством.

Антропософский взгляд на душу, как на странницу во Времени, в разные века воплощающуюся в разных людей, был для Волошина не поверьем, не гипотезой, а действительностью. Люди почти никогда не помнят своих прежних существований, прежних судеб и реальных биографий, и не помнят *грядущего*... Но есть среди них немногие, кому оставлен, хотя и не в полной мере, страшный дар: смутно вспоминать, кем ты был когда-то, и даже помнить, как отсветы реального бытия, свои странствия по обратнонаправленному времени.

Ключ ко всему творчеству Волошина — венок сонетов «Corona Astralis». Это попытка раскрыть нам, насколько доступно слову, ощу-

щения вечного странника, человека, несущего жуткий груз Знания, пусть зыбкого и отрывочного, но достаточного, чтобы понимать, что за эту Память — творческий дар — за вневременность, он платит вечной неприкаянностью:

Изгнанники, скитальцы и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.
У птиц — гнездо, у зверя — темный лог,
Но посох — нам и нищенства заветы.
Долг не свершен, не сдержаны обеты,
Не пройден путь, и жребий нас обрек
Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...
Расплескан мед и песни не допеты.

Эти песни *никогда* допеты не будут — ведь Время для странника не может быть тем абсолютом, каким казалось людям доэйнштейновской поры и незнакомым с догадками древних индийцев...

Долг не свершен. Это прежде всего долг перед Тем, кто обрек странников на тяжкую и великую миссию пророчества. Но если бы пророкам верили безоговорочно, то у людей была бы отнята свобода воли. Та, что позволяет и верить, и не верить, и побивать пророков камнями...

Мысль о поэте-пророке варьируется в литературе чуть ли ни с догомеровских времен. У Пушкина поэт получает свыше пророческий дар, чтобы «глаголом жечь сердца людей». У Волошина наоборот — звездный скиталец исконно пророк, и лишь в одном из воплощений принимает облик поэта.

В невероятно емком ключевом сонете венка как бы спрессованы все мысли, все чувства, все еще не сказанные слова, из которых, как из крохотного бутона, разворачивается эта лиричнейшая, горькая и мудрая поэма.

Вот начало ключевого сонета:
В мирах любви неверные кометы —
Закрыт нам путь проверенных орбит!
Явь наших снов земля не истребит,
Полночных солнц к себе нас манят светы.
Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш горький дух, и память нас томит,
В нас тлеет боль внежизненных обид —
Изгнанники, скитальцы и поэты!

Одиночество в любви, в безответности ее — лишь малая часть того Одиночества, которое — расплата за Знание:

Я исследил, измерил, взвесил, счел,
Дал имена, составил карты, сметы,
Но ужас звезд от знанья не потух:
Мы помним все. Наш древний, темный дух —
Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

Носители эзотерических тайн не могут двигаться путями «проверенных орбит». Их путь — «параболы безвозвратные», и нет покоя, и мерцает память даже в миги воплощений о тех — временах ли, состояниях ли — память об «утерянном рае» подсказывает, что *«мы беглецы и сзади наша Троя, / И зарево наш парус багрянит»*.

Гармоническое сочетание знания и прозрения, мысли и чувства, — то, что называется аполлонической гармонией, то, что в русской поэзии дано было разве только Пушкину — вот строй волошинского миропонимания. И в начале нашего века он был так же одинок среди своих современников. Поэты-символисты, признававшие лишь интуитивное, непостижимое разумом «дионисийское начало» (Вяч. Иванов) были далеки от аполлонизма. Темная, земная, иррациональная стихия, буйная и смутная, отождествлялась ими с понятием духовности. Один лишь Блок избег этого соблазна, ибо назвал его по имени. В то же время существовала и псевдопротивоположность дионисийства: плоский брюсовский рационализм. Волошин и тут был «двух станов не боец, а только гость случайный» (А. К. Толстой). В 1920 г. Волошин писал так (о гражданской войне): *«А я стою один меж ними / В ревущем пламени и дыме / И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других»*... — и это потому, что он понимает: *«Истории потребен сгусток воль, / Партийность и программы — безразличны»*.

По Волошину, мир мертвой машинной цивилизации неизбежен. Кто бы его ни породил, но этот мир — апокалипсическая необходимость, после изживания которой откроется выход в мир цивилизации духовной: *«Есть злая власть в душе предметов, / Рожденных судорогой машин. / В них грех нарушенных запретов /... Но мы, свободные кентавры, мы мудрый и бессмертный род»*... Странники в конкретном бытии принадлежат все же к определенному народу, даже кругу людей, со всеми их достоинствами и недостатками, но в космическом странствии — остается им лишь надеяться, ждать, пока человечество осознает, что оно — не только инструмент Господень, но и сотрудник, помощник в вечно длящемся сотворении мира, со-творец, которому чем далее, тем все больше препоручается.

Освобождение от неприкаянности есть освобождение от Памяти. Велик соблазн, но и цена велика: ведь неприкаянные — «соль земли.

Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Мф 5: 13). И душа усталого странника исключается из звездных скитаний, и «перестает быть», ибо отказ пророка от груза Знания есть предательство Духа.

Особое место в творчестве Волошина занимает судьба России. Если подход Блока к этой теме — национальноисторический, подход Ахматовой — лирический, то Волошин видит Россию из иных измерений, ибо и в этом закрыт серому ангелу «путь проверенных орбит». Судьбу своей земной отчизны он видит в контексте общемировых судеб. Это — попытка (еще одна!) облечь Знание в поэзию.

Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы?
Пусть бунт наш — бред,
Пусть дом наш — пуст,
Пусть боль от наших ран — не наша,
Но — да не минет эта чаша
Чужих страданий — наших уст.

Тут Россия — сразу и Христос, и враги Его. «Ныне оставляется дом ваш пуст» — слова Христа, обращенные к Иерусалиму. А слова об искупительной чаше — перифраз молитвы в Гефсиманском саду: «...да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты...» (Мф 26: 9).

Стихотворение «Русская революция», из которого взяты приведенные выше строки, написано в 1919 году. Со спокойствием стоика оставаясь у себя дома в Коктебеле, Волошин, по древнему русскому обычаю, помогал всем, кто в беде: спасал белых от красных, красных от белых... Это не была равнодушная позиция над схваткой, нет, — «молюсь за тех и за других» — жизненная позиция пророка и гуманиста.

Оценка событий и глубинных причин их находит параллельное выражение в поэме «Протопоп Аввакум». Эпиграфом к ней взяты слова самого Аввакума: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической». Для Волошина это воплощается в противоборении двух конкретно-исторических начал: светлой, Европейской, Руси, порожденной варяжско-новгородским духом, воскресающим из пепла снова и снова, с темной «палаческой, имперской и мятежной» Русью, воплотившейся в образе московского периода нашей истории — самого страшного и позорного (если не считать периода «новомосковского», лишь начинавшегося в те годы). Монгольский дух породил «азиатчину без азиатов». Уже не было татарских владык, но дух рабства и палачества

воплотился в темной мощи Ивана IV, а потом в никоновском расколе, рвавшем страну на части почти так же, как в XX веке: *«расплясались, разгулялись бесы / по России вдоль и поперек...»*.

Антропософское миросозерцание позволяет поэту не проводить простых литературных параллелей, а оживлять образы вневременные. Из любого времени Волошин выхватывает тип или характер, который видит как судьбоносный. И палаческое бесовство азиатчины на тронах неотделимо от бесовства мятежей — от красного петуха Стеньки, Емельки и Гришки Отрепьева.

Вспоминается, как у Достоевского в «Бесах» заявляет Шигалев: «Начав с безграничной свободы, я заканчиваю безграничным деспотизмом».

Мятеж и тирания переходят друг в друга, ибо главное в их сходстве — нет, в их тождестве — вседозволенность. Деспотия вызывает мятеж, а он ведет к новой деспотии. Еще большей. И с течением истории все сильней и сильней раскачивается маятник исторических судеб страны и мира, пока не изживут себя обе крайности, слившись в верхней точке, пока не возникнет иной вид движения...

Цепь смертей и рождений Дмитрия Императора — Гришки, Тушинского Вора и т. д. становится воплощением этих все расширяющихся взмахов маятника судьбы. *«Убиенный много и восставый»*, Отрепьев сам и мятеж, и тирания. Не самозванец — законный наследник Грозного, порождение деспотизма, он же — «бунт бессмысленный и беспощадный», вседозволенность власти и мятежа. Зло, пресекаемое злом, вырастает в новое, большее. Все шире амплитуда — от безграничности анархии до безграничности власти: *«Так смущая Русь судьбою дивной, / Четверть века мертвый, неизбывный / Правил я лихой годиной бед / И опять приду. Чрез триста лет»*. Написано это стихотворение в декабре 1917 года, когда от февральской революции, которую Волошин принимал как закономерный акт исторического возмездия, осталось одно воспоминание. Период безответственной свободы уже сменился периодом столь же безответственной деспотии. Для Волошина это — неизбежность, продиктованная самой сутью России: *«Я сам — огонь. Мятеж в моей природе, / Но цель и грань нужны ему. / Не в первый раз мечтая о свободе / Мы строим новую тюрьму»*. Вот эти-то «цель и грань» невозможны, пока обе крайности не самоуничтожатся в борьбе беззаконной и яростной. *«Так семя, чтобы прорасти, должно истлеть. / Истлей, Россия, / и царством духа расцвети»*.

В знаменитом стихотворении, написанном 23 ноября 1917 года, поэт провидит дальнейший рок, хотя после октябрьского переворота прошло чуть более двух недель:

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.
Распродали на улицах — не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав... И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль...

Но для поэта-пророка это все же не гибель, но переход той смертельной черты, последней грани, за которой только и возможно возрождение. Надо стать пеплом, чтобы из него восстать, «смертию смерть поправ». В одном из ранних стихов («Ангел мщения») Волошин писал: *«Кто раз познал хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача»*. Россия стала и тем, и другим. И палачом и жертвой. И только пройдя через это, она воскреснет, свершив крестный путь за те страны и народы, которые будут искуплены распятием России.

*<1977>*